

ПРИКОСНОВЕНИЯ ПАМЯТИ. ЗАПИСКИ СТАРОГО ВРАЧА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

А.А. Карпеев

Национальный совет по гомеопатии (г. Москва)

Touching memory. Notes of the old doctor (continuation)

A.A. Karpeev

National Council for Homeopathy (Moscow, Russia)

DOI: 10.54296/18186173_2021_3_44

В 1963 году ректор МОЛМИ им. И.М. Сеченова Владимир Васильевич Кованов, выступая перед нами, шестикурсниками, особо отметил творческую составляющую, неизменно сопутствующую нашей учебе. Он упомянул о победе нашей институтской команды КВН, очаровательным капитаном которой была Рита Бабаева из нашей группы, похвалил содержательную деятельность студенческой театральной студии «Пирамиды», но, напомнив о главном нашем предназначении, закончил это выступление призывом, чтобы среди наших выпускников было меньше Лившицев и Левенбуков, которые прямо со студенческой скамьи ушли на эстраду, а больше Аксельродов (Глеб Аксельрод – выпускник нашего института – один из создателей и авторов популярной передачи ВВВ («Вечер веселых вопросов»), впоследствии превратившейся в КВН, который, несмотря на большой успех созданной им передачи, не изменил медицине, продолжая работать врачом-реаниматологом).

Напутствие ректора, конечно, весомо, но жизнь очень часто распоряжается нами по-своему. Хочу вспомнить трех своих сокурсников, которых судьба увела из нашей профессии.

Первый из них, конечно же, Гриша Офштейн – хорошо известный в стране и за ее пределами драматург, писатель, сатирик и юморист Григорий Горин (по версии другого моего однокурсника псевдоним расшифровывался так: Григорий Офштейн – русский интеллигент, но за истинность этой версии не ручаюсь. Недавно в интернете нашел еще версию, якобы Владимир Войнович расшифровывал эту фамилию так: Гриша Офштейн решил изменить национальность). Не могу сказать, что мы были близко знакомы. Да, учились на одном лечебном факультете, на одном потоке,

пожимали друг другу руку при встрече, но этим, в основном, знакомство и ограничивалось, все-таки группы были разные. Что касается творчества, то здесь Гриша был лидером, прямой, а я – благодарным и отзывчивым, но рядовым зрителем. Ни один праздничный вечер не обходился без него. Мы были первыми слушателями многих его юморесок, ставших впоследствии известными всей стране, таких, например, как анекдот о повязке, сползшей с головы на ногу. Он живо улавливал наши настроения, и в его миниатюрах мы постоянно ощущали пульс нашей студенческой жизни. Мое первое впечатление от его творчества связано с проблемой сдачи зачетов по физкультуре (ей в институте придавалось большое значение, и сдача установленных нормативов, скажем, по легкой атлетике, была не очень простым делом). Гриша в гротескной стихотворной форме отразил сложные перипетии этого процесса. Я не помню всего стихотворения, но заканчивалось оно тем, что после успешных прыжков в высоту автор был препровожден в соответствующие инстанции по подозрению в том, что «запрятал в трусы турбодвигатель».

Его талант, конечно же, был задействован нашей командой КВН. В те годы этот конкурс в основном представлял собой состязание в остроумии и находчивости, как говорится, здесь и сейчас, и только «Домашнее задание» предполагало предварительную подготовку. В одном из таких конкурсов, посвященных Древнему Риму, Гриша принимал участие не только как автор, но и как исполнитель. Запомнилось его оценка деятельности императора Нерона, который «Рим спалил для дезинфекции».

Главной отличительной чертой Григория была его доброжелательность к окружающим. Сколько помню его – на лекциях, на семина-

рах, на практических занятиях – он никогда не был в одиночестве, всегда вокруг него были однокурсники, причем он всегда был в центре, как магнит притягивая окружающих. Вспоминаю, как в 1983 году на встрече выпускников 1-го МОЛМИ, посвященной 20-летию окончания института, Григорий (уже Горин) настолько был в центре этого запоминающегося события, что, когда организаторами был объявлен конкурс на звание «Мистер МОЛМИ-63», то проведение его стало формальностью – других кандидатур, кроме Григория, просто не было. Меня поразили те искренность и радость, которыми светилось в этот момент его лицо, было видно, что для него, в определенной и немалой степени избалованного общим признанием, мнение однокурсников очень важно и значимо. А мы сердечно аплодировали ему, пошедшему отличной от нас дорогой, окунувшись в другой, богемный мир, но – и это было самым главным – не потерявшим свое лицо, сохранившим с нами самую искреннюю сердечную связь.

Доброжелательность, искренность располагали к нему. Влюблялись ли в него однокурсницы? По-моему, не могли не влюбляться, хотя с уверенностью сказать не могу. А вот о другой женской влюбленности в Гришу вспоминается. После четвертого курса у нас была практика. Чаще всего, в сельских больницах. Женская палата, которая была выделена Григорию для кураторства, встретила его настороженно (мужчина!), но это очень быстро сменилось влюбленностью в молодого доктора. Вопрос дисциплины, а до этого он был определенной проблемой, решил сам собой – сразу после завтрака пациентки, уже красиво причесанные, с напудренными носиками, с яркой губной помадой ждали своего кумира, само появление которого утихомиривало боли, снижало давление, повышало настроение. А когда он по творческим делам однажды был вынужден задержаться в Москве на два дня, палата была охвачена унынием и всеобщим ухудшением состояния. Интересно, эти девушки, ставшие сейчас старушками, знают ли судьбу их любимого доктора? Думаю, что знают.

Будучи очень искренним человеком, Гриша высоко ценил это качество в других. Рассказывал, как его мама, Фрида Григорьевна, во время одного из его первых концертов сидела в партере и, сложив руки на груди, повторяла: «Это мой сын! Это мой сын!» Зрители, сидевшие рядом, даже стали ей аплодировать. Ее ранняя смерть стала для Григория большим ударом.

Деликатность была его отличительной чертой. Вспоминается эпизод, когда это качество

его природы усугубило почти комическое положение, в которое он попал. Наши группы одновременно оказались на занятиях, проходивших в парке «Сокольники». Вышли из парка мы вместе (человек пятнадцать) и пошли к станции метро. В этот момент Гриша извинился и попросил разрешения немного отстать, так как ему предстояла сдача материала в редакцию, и требовалось кое-что в нем додумать. Мы дошли до метро и остановились у входа, решив подождать Григория. Он появился минут через пять, и вид его был очень необычным – лицо в красных пятнах, глаза, и без того довольно выпуклые, были необычайно расширены, и в них запечатлелся панический ужас. Он почти бежал и беспрестанно оглядывался назад. Увидев нас, просветлел лицом, и увлек всех в вестибюль. И только там, чуть отдышавшись, рассказал подробности случившегося. Кто знает эту аллею, ведущую от выхода из парка к станции метро, не может не помнить, что приблизительно на середине пути там расположены два подземных туалета, мужской и женский. Около женского, как всегда, стояла очередь. Занятый своими мыслями Гриша принял вход в туалет за вход в метро и дисциплинированно встал в очередь. Сначала его присутствие в очереди воспринималось с недоумением, но спокойно, а вот когда поток направился под землю и Гриша последовал за ним, разразился скандал. Женщины громко и нелицеприятно возмущались, а одна из стоявших сзади даже чем-то ткнула его с спины. Григорий пытался оправдаться, но его никто не слушал, и дело закончилось позорным бегством. Более всего Грише досаждало то, что женщины не поверили в непреднамеренность его присутствия среди них. Он долго не мог успокоиться и уже в метро все пытался оправдаться, хотя у нас не было ни малейшего сомнения в его искренности.

Единственный раз видел раздраженного, раздосадованного Григория в день сдачи экзамена по акушерству и гинекологии. Наши группы сдавали экзамен в одной аудитории. Я, рано и удачно «отстрелявшийся», стоял у дверей, ожидая выхода сдавших. Резко открылась дверь и вышел, нет, скорее, вылетел Гриша, растерянный, без обычной улыбки на лице. Завалил! Он быстрым шагом пометался по фойе, вернулся к нам и, слегка заикаясь, изложил свою версию случившегося. Экзамен принимал Константин Николаевич Жмакин, известный своей строгостью и любовью к галстукам. Придти на экзамен к Жмакину без галстука – заранее обеспечить себе «неуд».

Гриша знал об этом, постарался и, по его словам, переборщил. Он распахнул пиджак и продемонстрировал нам это чудо, невообразимо яркое, разноцветное. Профессор якобы вовсе не слушал его ответа, а непрерывно смотрел на галстук, потом хмыкнул и вернул зачетку, что означало провал. «Он признал, что мой галстук красивее и моднее, чем его, и по праву сильного вынес несправедливый приговор» – заключил Гриша. Кстати, через несколько дней Гриша без труда пересдал экзамен, что в какой-то степени не позволяет признать его версию совсем уж фантастической. Через десяток минут, немного успокоившись, Гриша попросил нас слушать ближайший выпуск передачи «С добрым утром!». Я послушал. Гриша читал свой рассказ. В нем в качестве отрицательного персонажа был выведен формалист, председатель месткома по имени Костя Жмакин. Отомстил!

После окончания института и отъезда из Москвы мои возможности контакта с однокурсниками резко сократились. О Грише я почти ничего не слышал, хотя иногда удавалось увидеть его по телевизору. Тем более было приятно встретиться с его творчеством. В конце 70-х местком Калужского обкома партии организовал выезд своих сотрудников в театр Сатиры. Я только что вернулся из командировки и получил приглашение непосредственно перед поездкой (кто-то не смог поехать). Я поинтересовался названием пьесы, которую нам предстояло смотреть, но организатор поездки забыл ее название. Тем не менее, я без раздумий согласился, рассудив, что в репертуаре этого именитого московского театра не может быть проходных спектаклей. И только в фойе театра, посмотрев программку, я обнаружил, что предстоит смотреть «Маленькие комедии большого дома», и авторами пьесы являются два моих однокашника: Аркадий Арканов (окончивший наш институт двумя годами ранее) и Григорий Горин. Спектакль был великолепным. Да разве могло быть иначе, ведь на сцене были Андрей Миронов и Спартак Мишулин, Татьяна Пельцер, Александр Ширвиндт и Михаил Державин, Анатолий Папанов! Спектакль шел на одном дыхании и закончился под бурные овации зрителей.

Несколько дней не садился за продолжение воспоминаний. Препятствием к работе стали почерпнутые из Интернета обстоятельства смерти Григория Горина. Он умер в 2000 году, едва перейдя границу 60-ти. Катастрофически мало было ему отпущено природой. Конечно, это не 37 Пушкина и Маяковского, не 30 Есе-

нина, тем более не 27 Лермонтова, но ведь и обстоятельства были другими – ни пушкинско-лермонтовских дуэлей, ни есенинского пьянства, ни семейных неурядиц Маяковского. Как он, опытный врач скорой и неотложной помощи, видевший на своем медицинском веку сотни больных с инфарктом миокарда, не смог разглядеть это чудовище, когда оно пришло к нему? Впрочем, подозрение на дела сердечные все-таки было, был вызов «Скорой помощи», была сделана ЭКГ, но коварная болезнь не выдала себя, не отразив графически патологию коронарных сосудов. А симптоматика? В ней преобладали боли в спине, которые и маскировали надвигающуюся сердечную катастрофу. Когда же клиника стала угрожающей и отобразилась, наконец, графически на электрокардиограмме, было уже поздно, его не успели довести до стационара. Каким же дальновидным и разумным является древний призыв: «Врачу – исцелися сам!» Веками слышат это врачи, веками же соотносят это с коллегами, но не с собой. И получается, что распознать болезнь в другом человеке легче, чем в себе. Великий терапевт Сергей Боткин, значительную часть своей научной и лечебной практики посвятив дифференциальному диагнозу между инфарктом миокарда и желчнокаменной болезнью, не сумел их дифференцировать у себя и погиб. Каждый врач, в том числе и я, может привести драматические примеры из своей практики, а то и из своей жизни.

Как бы то ни было, Григорий Горин ушел от нас в цветущем возрасте, ушел сформировавшимся драматургом-философом, который в своих пьесах, искрящихся юмором и пропитанных сатирой, нес огромный заряд надежды и веры в будущее. Для меня его образ нерасторжимо слился с незабываемым образом барона Карла Фридриха Иеронима фон Мюнхгаузена в исполнении Олега Янковского, с улыбкой уходящего от нас в небо по веревочной лестнице со словами: «Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!»

Не так давно при подготовке материалов по истории фитотерапии (метода лечения с помощью лекарственных растений) фантазия унесла меня в доисторические времена и привела к наскальным изображениям, сделанным первобытными людьми. Окунулся в дискуссию о происхождении этих рисунков, нашел немалое количество версий об их происхождении, из которых ближе всего к сердцу легло предположение о том, что это произведения искусства, сделанные с целью самовыражения и т.п. И сразу в памяти возникли стихи из моей юности:

«Нет, искусство не ведаёт убыли,
 Бесконечное как колесо:
 Так сменил утонченного Врубеля
 Грубоватый мазок Пикассо.
 Все исчезнет – культура и грамота,
 Но как время бессмертен талант,
 И пещеры рисунками мамонта
 Вновь украсит грядущий Рембрандт!»

И память увлекла меня (сразу извиняюсь за то, что в воспоминаниях о замечательной творческой личности использую ходячие литературные штампы, но что поделаешь, я не поэт и не писатель) в глубокую осень 1957 года, когда я, только что ставший студентом 1-го Московского ордена Ленина медицинского института им. И.М. Сеченова, договорился с моим одноклассником сходить на футбол. Мы оба с ним были провинциалами, Игорь Румянцев (о нем идет речь) – из Орла, я – из Калуги, сблизила нас любовь к футболу, хотя мы и болели за разные команды. Я немного опоздал на стадион, и когда пришел на трибуну, Игорь уже сидел там. Он был не один и сразу же представил мне земляка – высокого худого парня в длинном плаще и сером берете (запомнил эту деталь одежды, потому что береты в нашей среде в ту пору не были распространены). Мы познакомились, я обратил внимание на необычность произнесения им своей фамилии (она прозвучала через «э» – Стэфанов Юрий). Во время первого тайма я с удивлением заметил, что мой новый знакомый совершенно не интересуется происходящим на футбольном поле, а сосредоточенно что-то пишет в тетрадку. В перерыве он неожиданно (для меня) стал нарастив и, заметно заикаясь, читать написанное. Это оказались стихи. Не буду лгать, я их не запомнил, кроме одной строчки: «это воеет над мертвым скальдом...». Речь шла о чем-то древнескандинавском, кто такой скальд я узнал позже. Не скажу, что стихи произвели на меня впечатление. Кто их в юности не писал? У меня еще свежи были впечатления от того, что на вступительных экзаменах один абитуриент написал сочинение по литературе в стихах (кстати, получил отличную оценку). Чем закончился этот вечер, я не запомнил, кажется, Юра ушел, не дождаввшись конца матча. В дальнейшем мы встречались эпизодически. Весной 1958 года в коридоре общежития в Перловке (я часто приезжал туда в гости к Игорю) увидел Юру, хотя без плаща и берета не сразу узнал его. Он был сильно возбужден, от чего заикался еще больше. «Мы идем, рвань и голь, вив ле женераль де Голль!» – приветствовал он нас (мы не очень

были сведущи в международной обстановке, но об алжирском военном путче и приходе к власти во Франции генерала де Голля читали в газетах и слышали по радио). Я не знал, что он уже тогда всерьез занимался французским языком, и его грассирование показалось мне несколько наигранным.

Несколько слов об этом общежитии. Располагалось оно в приземистом двухэтажном, по-моему, деревянном доме барачного типа на станции Перловская (ныне это уже пригород Мытищ). В мужских комнатах всегда было сильно накурено (представляю, как жилось там некурящим, впрочем, они были в меньшинстве). По случайному совпадению каждый раз при моем приезде (а я там бывал довольно часто) принималось коллективное решение – бросить курить (медики ведь все же!). В двенадцать часов ночи торжественно выкуривалась последняя (!) сигарета, а все оставшиеся выбрасывались в окно. Результат всегда был одним и тем же: утром, первый проснувшийся вылезал в окно (комната была на первом этаже), собирал выброшенный «Дукат» и угощал просыпавшихся.

Жили в общежитии студенты первого (в основном) и второго курсов. Из проживающих я запомнил худенького невысокого парнишку в очках, к которому все относились с особым уважением. Игорь объяснил мне, что это Валера Чиссов, отец которого, боевой летчик, был сбит в воздушном бою, выбросился с парашютом, который не раскрылся. Не сработал и запасной парашют, но летчик чудесным образом спасся, приземлившись на заснеженный склон возвышенности. Получил множественные переломы, но остался жив. Для нас, детей войны, это не было пустым звуком, и уважение к воину автоматически распространилось и на сына, который со временем стал известным хирургом-онкологом, в течение многих лет возглавлявшим НИИ онкологии им. П.А. Герцена. Когда я бываю в галерее-студии Александра Шилова (очень люблю и высоко ценю его творчество), всегда надолго останавливаюсь перед портретом Валерия Ивановича Чиссова, многолетней дружбой с которым очень горжусь.

В последующие два года мы с Юрой практически не встречались, кроме как на лекциях, но мы учились на разных потоках, да и посещали лекции не очень регулярно. Но он время от времени (и довольно часто) напоминал о себе своими творениями, которые постепенно становились все более привлекательными, образными. Так, на втором, по-моему, курсе многие из нас восхищенно читали друг другу:

«Близки мне зверя ужас и злость,
 Когда он бежит и вдруг
 Смыкается, с хрустом ломая кость,
 Челюсть капканных дуг.
 Прерывист плененного зверя храп,
 Обрызган пеною мох...
 Но он, отгрызая одну из лап,
 Уходит дальше на трех.
 Ему нелегко, но ведь мне, поверь,
 Труднее в тысячу раз,
 Когда я бьюсь, словно пойманный зверь,
 В капкане любимых глаз.
 Но глухо и тихо у сердца внизу,
 В темной густой крови...
 Какими зубами я отгрызу
 Лапу своей любви?»

Стихотворение находило чувственный отклик в наших юношеских сердцах. А вскоре после этого из уст поэта вырвался неожиданный и пронзительный крик:

«Иногда мой разум дико воет,
 Давнее, лесное вороша –
 Я не человек, а гориллоид,
 У меня звериная душа.»

Кто или что подвигло поэта на столь дикий образ? Что породило это стихотворение? Жуткое описание зверя в образе человека никак не укладывается в гуманную сущность автора, да и завершение стихотворения:

«Я живу по праву грубой силы,
 Все круша, что встало поперек,
 Потому что дикий нрав гориллы
 В образе сегодняшнем сберег!»

никак не ассоциируется с личностью Юры. А с кем? Остается загадкой. Впрочем, реального прототипа, может быть, и не было, а была только чем-то спровоцированная попытка эпатировать слушателя.

А это он умел. Вспоминаю, как мы с ним и с Андреем Матвеевым (ценителем и активным пропагандистом его стихов) пошли в кино. Смотрели только что вышедший на экран отечественный фильм «Ласточка». Серый, заурядный фильм, глазу зацепиться не за что. Вышли из зала молча. Так и разошлись. А наутро Андрей уже читал мне Юрины стихи, написанные по горячим следам:

«Когда я диктатором на белом верблюде
 Расплескаю времени желчь,
 То первым декретом все киностудии
 Повелю разграбить и сжечь!
 И первым приказом, который
 Прозвучит на моих губах,
 Я прикажу всех киноактеров
 На фонарных повесить столбах!
 И когда они как гигантские ножницы

Закачаются головами вниз,
 Я воинам личной охраны в наложницы
 Отдам всех киноактрис!»

Мы были в восторге от этих стихов. С возрастом этот юношеский восторг уменьшился, зато сейчас, посмотрев что-нибудь из современной кинопродукции по телевизору (в кино театры давно не хожу), уверенно делаю вывод, что не такой уж жесткой и несправедливой была эта оценка.

В 70–90 годы я практически ничего не слышал о Юре. В конце 90-х мне рассказала эпизод из его жизни Рита Бабаева, наша «комсомольская богиня», а впоследствии – остепененный врач-онколог. Она все эти годы поддерживала связь со Стефановым, чему способствовало проживание в соседних домах (по-моему, в Теплом Стане). С ее слов, Юра, с которым они несколько раз случайно встречались в метро и иногда перезванивались, вдруг позвонил ей среди дня и попросил зайти к нему. Рита была очень отзывчивым и обязательным человеком и, конечно, откликнулась на его просьбу. Выйдя из лифта на нужном этаже, она ощутила необычный и неприятный запах, который, как оказалось, исходил из Юриной квартиры. Открывший дверь Юра был в подвернутых до колен брюках и босыми ногами стоял по щиколотки в издающей дурной запах жидкости. Он попросил ее разуться, аккуратно поставил ее обувь на какую-то полочку и провел в комнату. Там на диване с закатанными штанинами сидел его товарищ и во взглядах обоих была тоска. Выяснилось, что два шестидесятилетних мужика решили устроить себе праздник. Они купили двадцатилитровую бутылку (она, расколотая на несколько частей, стояла посередине комнаты), заправили ее необходимыми ингредиентами, и стали ждать желанного продукта. В один из дней, когда миг победы был уже близок, кто-то из них неосторожно задел посудину, и она лопнула, выплеснув содержимое наружу. Рита быстро организовала спасательные работы, мобилизовав для этого все имеющиеся в квартире тряпки, простыни, полотенца (нужно сказать, что найти все это в холостяцкой квартире было непросто). Мужикам она строго приказала сидеть на диване и не рыпаться. Через час вся влага была собрана, вылита в унитаз, подсобные материалы выжаты и развешены на кухне. Мужчинам было разрешено покинуть диван, что они и сделали, предложив на кухне отметить спасение, но Рита сослалась на головную боль (она действительно возникла у нее от раздражающего запаха) и ушла домой.

В этой истории хочу подчеркнуть два момента: во-первых, неприспособленность Юры к суетной повседневной жизни, к бытовым трудностям, а во-вторых, основной жизненный принцип Риты – готовность всегда прийти на помощь. Не случайно последним местом ее работы стал московский хоспис – учреждение, в котором главным лечебным фактором является сострадание. При этом она могла быть резкой, решительной. Вот пример. Летом 1963 года несколько выпускников МОЛМИ были направлены на целину для медицинского обеспечения студенческих строительных отрядов. Мы с Ритой попали в отряд МВТУ им. Баумана (в разные районы). Помимо основной задачи оказания помощи бойцам отряда, на нас была возложена обязанность оказания медицинской помощи местному населению. Рита стала работать хирургом в районной больнице. В один из дней она оперировала больного. Во время операции в операционную бесцеремонно вошел человек без халата и что-то спросил. Рита строго объяснила, что во время операции в операционную нельзя входить без халата, и попросила его выйти. В ответ вошедший сказал, что он заведует облздравотделом, и повторил вопрос. Рита уже более резко попросила его покинуть операционную, на что начальник не среагировал и продолжал приближаться к операционному столу. Тогда Рита (миниатюрная и прелестная женщина) пошла ему навстречу, сжимая в руках скальпель, и приблизившись, громко сказала: «А ну-ка пошел...», четко выговорив пункт назначения. Начальник, как ошпаренный, вылетел в коридор. Когда Рита завершила операцию, медсестра сообщила, что ее просит зайти главный врач. В кабинете кроме него сидел заведующий облздравотделом, который вскочил навстречу Рите и сразу же предложил ей работу в областной больнице, объяснив, что именно такие хирурги ему нужны. Рита разочаровала его, сказав, что она москвичка и в скором времени должна возвратиться в столицу. Вот такая она, наша Рита – великолепный врач, комсомольский вожак, верный и надежный друг.

Продолжу о Юрии Николаевиче Стефанове. Повторюсь, что после окончания института я редко слышал о Юре. А жаль... Его судьба в эти годы круто повернулась. Он расстался с медициной, уйдя из института после, как мне помнится, трех курсов. Вскоре поступил и успешно окончил исторический факультет МГУ, работал по специальности, но постепенно главным в его жизни стали переводы авторов, пишущих на его любимом французском

языке. Одними из первых, получивших широкую известность, были переводы Монтеня для академической серии «Литературные памятники». А далее – необыкновенно широкий круг авторов и произведений, как всемирно известных (Вийон, Бодлер, Верхарн, Рембо, Вольтер, Ионеско, «Тристан и Изольда»), так и впервые им для нас открытых Альбера Камю, Роберта Мерля, Милана Кундера. Причем, исследователи отмечают его огромное уважение к переводимым авторам.

Признаюсь, что я очень мало знаю об этой стороне творчества Юры, впрочем, как и о его жизни после ухода из нашего института. Из воспоминаний людей, близко его знавших, складывается образ внутренне мятущегося, находящегося в постоянном духовном борении человека, философа-мистика, эзотерика. Он, безусловно, находился в духовном родстве с известным французским философом Рене Геноном, контактировал с известным российским ученым схожего направления Яковом Эммануиловичем Голосовкером, с другими представителями этого направления. Но вот что замечательно: разделяя во многом их представления, он всегда оставался самим собой. Более того, по свидетельству исследователей его философских взглядов, «он развивал клубки спутанных мыслей эзотерических авторов». Интересный факт: его дипломная работа в МГУ (напомню, на историческом факультете!) была посвящена творчеству художника Босха, который привлекал его тем, что извлекал свои невиданные образы из глубин подсознания. Юру привлекал «незримый мир, мир духов». Он писал: «Простая параллель: оголенный провод под напряжением и без. И в том, и в другом случае мы разницы не замечаем. Нам незрима сила, бегущая по проводу, и лишь войдя с нею в телесное соприкосновение, мы ее постигаем – мучительно, а то и ценою жизни».

Он сам очень точно определял свое предназначение: «Собеседник тех, кто рожден немым, созерцатель всех, кто давно незрим». Придавал большое значение сну, относясь к ним как к реальной части жизни.

Интересно, что многие современники считали его диссидентом. Он отвечал: «Все они считают меня диссидентом, а я и не знал, что я диссидент». Правильнее сказать, что Стефанов был альтернативен не только официальной культуре, но и диссидентской. Им написано:

«Еще торчу, о бесы, перед вами –
Такой как есть - смешон, придурковат,
Зато не тронут адскими червями,
Которым страшен мой священный яд!»

Он всегда считал себя православным человеком, хотя и оговаривался, что верит еретически.

Исследуя его творчество, А. Давыдов заключает: «Он, может статься, то ускользнувшее от суетного общественного внимания звено культурной преемственности, без которого не понять до конца современного состояния российского духа». От себя добавлю, что процесс познания творчества Юрия Стефанова неостановим и динамичен. Не за горами время его признания и глубокого всестороннего изучения.

Завершаю свои воспоминания его небольшим стихотворением, которое я бы отнес к жемчужинам русской лирической поэзии:

«Пусть жизнь моя загублена
Тобой давно...
Ты помнишь, есть у Врубеля
Такое полотно:
Закатом бледно-розовым
Окутана трава,
Стоит над Ильмень-озером
Царевна Волхова.
Она такая ж самая,
Как ты вчера,
И ждет она из-за моря
Лихого гуслияра...
А он с другою встретится,
Найдет покой –
Ах, быть тебе не девицей,
А быть – рекой!
За лесом крики лешего
Грозят бедой...
Ты конного и пешего
Напой водой.
Кто только тебе выдумал
Удел такой –
Не быть ковшом любимому,
А всем – рекой?»

Я считаю большим подарком судьбы то, что мне довелось быть знакомым с Григорием и Юрием, как-то, пусть не так глубоко, как хотелось бы, соприкоснуться с ними, быть, хоть в малой степени, причастным к их творчеству. А вот к моим взаимоотношениям с третьим творческим человеком, выпускником МОЛМИ, вполне могут быть отнесены строки нашего институтского гимна: «Пусть с тобою не были мы братьями – дружба крепче породнила нас».

С Андреем Матвеевым я познакомился еще до начала учебы в институте. Мы оба окончили школу с серебряной медалью, сдавали только один вступительный экзамен и после зачисления, но до начала учебы, были направлены в подмосковный колхоз на уборку овощей.

В течение 8 или 10 дней (не помню точно) мы помогали убирать свеклу и раннюю картошку, работа была не сложная, да и отношение к нам было снисходительное. Жили мы на сеновале, но постельное белье и одеяла были отменного качества, так что никакого дискомфорта мы не испытывали. Скажу сразу, что с Андреем в этот период мы практически не общались, но 1 сентября, когда выяснилось, что попали в одну группу, дружелюбно поприветствовали друг друга. В группе Андрей сразу занял лидирующие позиции, несмотря на то, что был младше всех (он после восьмого класса экстерном сдал экзамены за девятый и перешел сразу в десятый). Острый ум, какая-то несвойственная нам житейская опытность, рассудительность, серьезное отношение к учебе, но самое главное – энциклопедические знания, далеко выходящие за пределы биологических наук. Выдающимися для нас были его познания в искусстве, театре и особенно в поэзии. Он был непременным участником всех мероприятий институтской самодеятельности. В его исполнении многие из нас впервые услышали апухтинского «Сумасшедшего», кедринских «Зодчих», «Соперника», «Беседу» и многое другое. К выступлениям он относился предельно серьезно, много репетировал, искал разнообразные формы донесения стихотворения до слушателей, занимался, если можно так сказать, саморежиссированием. Читая лермонтовского «Беглеца», он выходил на сцену, поворачивался спиной к зрителям, замирал и вдруг резко, почти прыжком, поворачивался, выкрикивая первые строки: «Гарун бежал быстрее лани...» Зал замирал в напряжении.

Его авторитет в вопросах культуры и искусства был непререкаем. И он во многом оценивал однокурсников по отношению и знанию литературы, театра. Этот аспект и явился основополагающим в нашем первом, более или менее запомнившемся, контакте. Наша преподавательница немецкого языка, человек очень неординарный, предложила нам на занятиях общаться друг с другом только на немецком языке. Она разбила нас на пары, и моим напарником оказался Андрей. Его знание немецкого значительно превосходило мое, поэтому наш диалог быстро превратился в монолог, свои ответы на его вопросы я все чаще заменял мимикой и мычанием. Наконец, он спросил о том, чем я занимался накануне вечером. Я ответил, что ко мне приезжал отец из Калуги, и мы ходили в театр. Я не выдумывал – действительно, отец, начальник политотдела военного училища, при его командировках в Москву обяза-

тельно вечером водил меня в театр, чаще всего в его любимый Малый, а иногда – в Большой. В этот раз мы были в Малом театре. Андрей саркастически улыбнулся: «Видимо, смотрели «Большой Кирилл (была такая пьеса в стихах Ильи Сельвинского о Ленине)?» Я ответил, что смотрели мы спектакль по пьесе Л.Н. Толстого «Власть тьмы» (это я сказал по-русски) с Игорем Ильинским в главной роли. «Ну, и как?» «Потрясающе!» – не покрывив душой, сказал я и уловил в его глазах интерес.

Через некоторое время в перерыве между занятиями Андрей сообщил, что в Калужском издательстве вышел уникальный сборник «Тарусские страницы», но достать его в столице практически невозможно. И вдруг обратился ко мне: «Послушай, ты же из Калуги, попробуй приобрести эту книгу в своем городе». Я созвонился с отцом, в ближайшую субботу поехал домой, где меня уже ждала увесистая пачка из шести книг (это были последние экземпляры в магазине, как сказал отец). Я привез книги и сразу передал их Андрею. Он с восторгом схватил пачку, потом поинтересовался, взял ли я себе экземпляр. Я растерянно ответил, что нет. «Я так и думал», – сказал Андрей, вытащил из пачки одну книгу и торжественно вручил ее мне. Остальные он увез в свой Подольск. Сборник действительно был уникальным для того времени. Там были проза и стихи Марины Цветаевой, повесть Булата Окуджавы «Будь здоров, школяр!», произведения тарусского дачника Константина Паустовского, стихи Николая Панченко и многое другое.

А осенью 1958 года во время работы нашего курса на целине Андрей проявил себя как бесстрашный идеолог, великолепный переговорщик и просто как храбрый парень (напомню, что он был самым младшим в нашем коллективе). Дело было так. Наш палаточный лагерь разместился на окраине села Чистополье Кокчетавской области. В село мы практически не ходили (хотя в первые дни, когда еще были какие-то деньги, группками бегали в сельповский магазин) и с местными жителями не контактировали. И вдруг однажды вечером после работы, которой нас в течение первого месяца, откровенно говоря, не загружали, около наших палаток появились гости на велосипедах – человек пятнадцать подростков, весьма воинственно настроенных, вооруженных обломками арматуры и палками, у некоторых на кисти рук были намотаны велосипедные цепи. Ребята не скрывали своих агрессивных намерений. Их вожак, невысокий, но крепкий парень, естественно, в кепочке, стал путано предъяв-

лять претензии, хотя претензия, по сути дела, была единственная: «Вы – москвичи, мы вас не любим!» От нас вперед вышел Володя Кованов, крепко сложенный парень, самбист. Он спокойно слушал запальчивую речь и молчал, только желваки на его щеках выступали отчетливее, чем всегда. Обстановка накалялась. В этот момент Андрей, безошибочно определив в этой группе ее идеолога – худенького, но с задиристым вихром на голове парнишку, подошел к нему и, приобняв за плечи, отвел в сторону. Они о чем-то шептались минут пять, потом с их стороны вдруг послышалось пение. Это была популярнейшая в то время песня «Большие бульвары». Они спели один куплет, причем парнишка старательно выговаривал французские слова, хотя музыкально сильно фальшивил. После этого они похлопали друг друга по плечу и пожали руки. Парень махнул рукой своим, давая команду на отъезд, что они и сделали, хотя некоторые еще показывали кулаки, явно жалея о нерастраченной энергии. Больше мы их не видели.

На всю жизнь мне запомнился урок искренности, преподнесенный мне Андреем (хотя он об этом так и не узнал). Перед отъездом на целину наш отряд собирался в сквере перед административным корпусом института на Большой Пироговской улице, чтобы оттуда на автобусах ехать на Казанский вокзал. Моя мама по этому случаю приехала в Москву и решила меня проводить. Я ее очень любил, но дурацкая юношеская боязнь прослыть «маменькиным сыночком» сковывала меня и заставляла просить ее поскорее уехать. Она же обнимала меня, целовала, в глазах ее были слезы. Допустить такое сопровождение до отряда я, конечно же, не мог и решительно потребовал ее возвращения домой. Она всплакнула, еще раз крепко поцеловала меня и пошла к троллейбусу. Я облегченно вздохнул и направился к своим. Но, пройдя метров пятьдесят, увидел изумившую меня картину. На какой-то приступочке перед сидящей женщиной стоял на одном колене Андрей, гладил ее руку и не сводил с нее глаз. Это была его мама. Я остановился, потрясенный, потом оглянулся назад, но моей мамы уже было видно, а мне так хотелось догнать ее, обнять, извиниться за свое поведение. А Андрюшин урок сыновней искренности и верности я запомнил навсегда.

Во второй половине третьего курса я получил место в общежитии на Малой Пироговской улице. Узнав об этом, Андрей, проживавший там, пошел со мной к коменданту общежития и настоял на моем размещении в комнате, где

проживал он. Это была шестиместная комната на пятом этаже. Кроме Андрея, в ней проживали три первокурсника из-под Ногинска и их однокурсник из Сталинградской области. Ребята подобрались хорошие, один из них, Володя Домнин, стал на долгие годы моим близким другом. Но верховодил в комнате, конечно же, Андрей, несмотря на то, что большую часть времени он проводил дома, в Подольске. Я неоднократно бывал у него, меня радушно принимала его мама, Ася Григорьевна, спокойная, интеллигентная женщина. Два раза мельком видел его отца, он мне запомнился абсолютно лысой головой и какой-то нездоровой полнотой. Насколько я помню, он работал заведующим горздравотделом, а до этого был репрессирован и в течение нескольких лет отбывал наказание. Об обстоятельствах и причинах этого Андрей никогда не говорил, я знаю только, что в первые годы обучения в школе он был вынужден носить фамилию матери – Перельман. Еще в годы нашей учебы у отца Андрея случился инсульт, приковавший его к постели и отправивший на пенсию.

Наша жизнь в многоместной комнате общежития очень зависела от присутствия Андрея. Без него в накуренной комнате до полуночи шла игра в карты, в «коробочку» (была такая популярная тогда игра со спичечным коробком, который подбрасывался и в зависимости от его положения после приземления начислялись очки). Если же Андрей был на месте, интенсивность этих игр заметно падала, по моему, даже курили меньше (Андрей тогда вообще не курил). Вместо этого Андрей умело поворачивал наше стремление к общению в сторону внутриинститутских проблем, иногда – международных, проблем литературы и искусства. Особенно часто поднимались вопросы, связанные с кино. Как-то мы с Андреем купили книгу, в которой содержалась подробная информация о 150 советских фильмах. Через короткое время мы знали ее наизусть и очень любили соревноваться в этих знаниях. Обычно мы садились друг напротив друга, Андрей доставал книгу и в свойственной ему ироничной манере спрашивал меня: «А скажите-ка мне, сударь, кто был звукооператором фильма «Машенька?» «Зорин», – на секунду задумавшись, отвечал я. «Похвально, похвально!» – снисходительно говорил Андрей, и право задавать вопрос переходило ко мне. Впрочем, экзаменовывать этого всезнайку было безнадежным делом, – он знал все.

А еще – он заставлял нас писать стихи. Делалось это следующим образом: водящий

(каждый раз новый) наугад из нескольких книг выбирал четыре слова, и они должны были быть использованы в стихотворении. Рифма была обязательной, но получалось это далеко не всегда и не у всех. Зачитывались эти творения под смех и одобрение собравшихся. Конечно, никто из нас не стал поэтом (только Володя Домнин впоследствии делился со мной собственными стихами философского содержания), но я все чаще замечал в руках у ребят сборники стихов, чаще встречал их на модных и собирающих большую аудиторию вечерах поэзии в Политехническом музее и у памятника Маяковскому на одноименной площади, где со своими стихами выступали Евтушенко, Вознесенский, Рождественский, Ахмадулина и другие поэты, постепенно становившиеся кумирами молодежи.

В шестиместной комнате мы прожили около года, а потом нас с Андреем переселили в уютную трехместную на третьем этаже. Третьим в нашей с Андреем компании стал Юра Смирнов, студент санитарно-гигиенического факультета, орловчанин. Трио у нас сложилось замечательное. Нашими умами целиком владели медицина, театр и поэзия (хотя это не помешало Юре вскоре жениться на однокурснице Тане Симоновой). В комнате всегда были гости – студенты всех курсов, преподаватели, а позднее и артисты. Как-то Андрей пригласил к нам свою симпатичную подругу по подольской школе Марину Вайнтрауб, которая к тому времени стала актрисой, задорный и звонкий голос которой был нам всем знаком как ведущей воскресной радиопередачи «С добрым утром». Андрей, по-моему, был немного влюблен в нее, она тоже смотрела на него с обожанием, но развития эти чувства почему-то не получили. В нашу комнату набилось много студентов, и Марина, устроившись в углу на стуле, читала стихи. Читала замечательно, особенно популярное в те годы стихотворение Превера «Спичка». Интересно, что спустя почти пятьдесят(!) лет во время проведения нашим институтом международного конгресса по интегративной медицине ко мне с просьбой об интервью подошла журналистка и протянула визитку. Я с изумлением прочитал: Марина Вайнтрауб. Это была она, поменявшая профессию. Меня она, конечно, не помнила, но у нас сразу появилось связующее звено – память об Андрее, говорить о нем можно было бесконечно. Впоследствии мы много общались с ней по телефону, и опять «и это все о нем».

Нашим любимым театром (конечно, с подачи Андрея) был театр имени Маяковского.

Мы посмотрели весь его репертуар, а такие спектакли, как «Медея», «Аристократы», «Весенние скрипки» (незатейливая комедия, но как замечательно в ней играли Вера Орлова и Лев Свердлин!), «Современные ребята», где мы впервые увидели Александра Лазарева и Светлану Немоляеву. До сих пор в глазах стоит финальная сцена брехтовской пьесы «Мамаша Кураж и ее дети», в которой старая маркитанка Кураж (в гениальном исполнении Юдифи Глизер), у которой война отняла детей, с безумным взором продолжает плестись со своей повозкой за войском. И, конечно же, арбузовская «Иркутская история». Справедливости ради, надо сказать, что мы были объективны и признавали, что у вахтанговцев центральная пара в исполнении несравненной Юлии Борисовой и Михаила Ульянова была намного сильнее, чем у маяковцев Светланы Мизери и Эдуарда Марцевича, зато сама постановка и особенно опять-таки Александр Лазарев в роли Виктора с его огненной сумасшедшей пляской сильно выигрывали у довольно стандартного и бесцветного вахтанговца Юрия Любимова.

Где-то на пятом курсе у Андрея начался неуклонный дрейф к будущей работе в театре. Я, откровенно говоря, недооценивал силу этого зова, считая, что Андрея ждет будущее знаменитого ученого. И эти ожидания были весьма резонными. Андрей уже два года активно участвовал в работе студенческого научного кружка при кафедре физиологии. В кружке он, как всегда, занимал лидирующие позиции, выбрав для исследований одно из самых таинственных образований головного мозга – ретикулярную формацию. Его работа не осталась незамеченной. По просьбе руководства кафедры при распределении он был направлен в распоряжение кафедры, где и проработал в должности младшего научного сотрудника целый год. Затем тяга к театру победила, и Андрей поступил в ГИТИС. Не знаю, сколь успешной была бы его научная стезя, но уверен, что он мог бы достичь очень многого.

Как, кстати, и в практической медицине. После четвертого курса мы (шесть человек) проходили практику в больнице подмосковного Лосино-Петровска. В один из дней к нам обратилось местное медицинское начальство с просьбой провести врачебный прием в одной из подведомственных сельских амбулаторий. Выбор пал на нас с Андреем. Нас привезли в небольшое, но уютное и чистое здание, посадили в кабинет ждать пациентов. Прождав бесполезно часа два, мы вышли в сад при амбула-

тории. Побродив по нему, обнаружили шикарную черемуху, усыпанную спелыми ягодами. Полакомившись плодами с низко растущих веток, мы обнаружили, что самые аппетитные гроздья находятся высоко и, недолго думая, вскарабкались на дерево (в белых медицинских халатах). Спустя некоторое время, из здания вышла медсестра и позвала: «Доктора, где вы? Больные ждут». Мы, немало удивив ее, спрыгнули с веток и пошли в здание. Она остановила нас и каждому заботливо вытерла марлей иссиня-черные губы. «Вот теперь идите», – подтолкнула она нас к двери. На прием пришла пожилая супружеская пара дачников. Мы разделились. Женщина, которая прошла со мной в кабинет, жаловалась на периодически возникающие боли в суставах и, насколько я понял, пришла на прием из-за мужа, перенесшего недавно инфаркт миокарда. Воспалительных явлений со стороны суставов у нее не было, я ограничился отдельными рекомендациями, она поблагодарила за прием и советы. Освободившись, я пошел в кабинет, где вел прием Андрей. Он уже успел расспросить и осмотреть больного, послушать его сердце и легкие, пропальпировать живот и перешел к беседе с больным. И вот это было чудом. Мне довелось слушать лекции и видеть практические занятия многих корифеев отечественной медицины. Каждый из них, говоря о взаимоотношениях врача и больного, обязательно упоминал основополагающую доминанту этого процесса: «Лечить не болезнь, а больного». Но никогда я не видел, как воплощается этот великий принцип на практике. Андрей показал мне это. Он так описывал ощущения больного при стенокардии, будто сам не раз испытывал их. В то же время он упорно проводил мысль о том, что коронарная болезнь, несмотря на всю ее серьезность, не является приговором, но требует определенной корректировки образа жизни, поведения, питания. Пациент сначала робко кивал, потом все решительнее соглашался с врачом, а в конце беседы смотрел на доктора влюбленными доверчивыми глазами и, выйдя из кабинета и подойдя к ожидавшей его жене, откровенно сказал, что впервые в жизни встретил такого знающего и все понимающего врача. Супруги ушли, а я тоже решил выразить свое восхищение, на что Андрей насмешливо сказал: «И ты туда же! Пойдем лучше черемуху доедать!» Но за окном уже сигнализировал автомобиль, нужно было уезжать.

Андрей был очень эмоциональным человеком. Легко влюблялся, но быстро расставался. Почему? Не знаю, никогда не говорили с ним

на эту тему. Одно его увлечение мне запомнилось. Зимой 1964 года я, работавший тогда на кафедре нормальной анатомии нашего института, пришел в экзаменационный зал, где студенты второго курса сдавали государственный экзамен, самый, пожалуй, сложный на первых курсах. Экзамен шел своим чередом, когда в зал заглянул Андрей, работавший неподалеку на кафедре нормальной физиологии младшим научным сотрудником. Он жестом попросил меня выйти и после приветствий изложил просьбу: «Надо спасти человека!» Оказалось, что сдает экзамен некая Наташа, и результат экзамена весьма важен и для Андрея. Я подошел к столу, наклонился над Наташей и спросил: «Проблемы?» Она повернула ко мне голову, губы ее подрагивали, глаза были наполнены слезами. Я услышал трагический шепот: «Я ничего не знаю!» Действительно, требовалось спасение. Увидев, что освободилось место у хорошо знакомого мне ассистента, я подошел к нему и обрисовал ситуацию. Он сразу все понял и пригласил Наташу за свой стол. Я вышел в фойе к Андрею. Он очень нервничал, чувствовалось, что переживает. Через семь-восемь минут дверь из зала открылась, выскочила улыбающаяся Наташа, со словами «Четыре!» бросилась на шею Андрею, поцеловала его в щеку и побежала к выходу. Андрей облегченно вздохнул и благодарно обнял меня. Что разлучило их впоследствии, я не знаю.

Андрей проработал на кафедре около года, а потом все-таки непреодолимая тяга к театру увлекла его в ГИТИС, который он успешно окончил. Я в это время вернулся в родную Калугу, где несколько лет работал врачом в кардиологическом отделении городской больницы, откуда был направлен в клинику ординатуры во 2-й Московский государственный медицинский институт им. Н.И. Пирогова. Будучи в Москве, я созвонился с Андреем и вскоре получил, как и третий наш товарищ по общежитию Юра Смирнов, приглашение на его дипломный спектакль в театре им. Станиславского. Мы чуть-чуть запоздали и вошли в зрительный ряд в тот момент, когда в нем уже погас свет. Тем не менее мы быстро нашли в партере наши места. Усевшись, увидели сидящего в ложе Андрея, который приветственно помахал нам рукой. Спектакль был посвящен Аркадию Гайдару (его роль исполнял совсем молодой еще Василий Бочкарев, в будущем народный артист России) и его встречам с Зоей Космодемьянской. Постановка не была выдающейся, но подкупала своей искренностью и романтичностью. После спектакля (он был

коротким) мы с Юрой прошли за кулисы мимо рабочих, суматошно разбирающих декорации (театр ночью уезжал на гастроли в Ленинград) в маленькую комнату, которую занимал Андрей. После наших поздравлений и объятий он достал из чемодана маленькую бутылочку водки (четвертинку, как их тогда называли), разлил по стаканам и предложил выпить за встречу. Мы дружно запротестовали, имея в виду успешную защиту диплома и рождение нового советского театрального режиссера. Он с признательностью чокнулся с нами, и мы выпили (для меня наличие водки в чемодане Андрея было сюрпризом, ранее в любых компаниях он ограничивался бокалом сухого вина).

Расчувствовавшись, Андрей предложил в оставшееся до отъезда время посидеть в ресторане Дома актера, находившемся неподалеку (на Пушкинской площади). Мы, конечно, не могли отказаться от такого заманчивого приглашения и уже через десяток минут стояли у входа в ресторан. Суровый швейцар в форменной одежде неприветливо посмотрел на нас с Юрой, но, увидев Андрея, заулыбался и с поклоном открыл массивную дверь. В зале нам навстречу бросился молодой официант и показательно вежливо отвел нас к небольшому столику в центре. Андрей по-хозяйски пригласил нас за столик, заказал три бокала сухого вина (на большее у нас просто денег не было), и вот тут мы уже с удовольствием выслушали и горячо поддержали его тост за дружбу. Мы с Юрой во все глаза смотрели в зал, выхватывая взглядом тут и там знакомые по спектаклям и фильмам лица. Вот двое молодых парней провели под руки сильно хромающего Евгения Леонова. Андрей остановил одного из сопровождающих, пошептался с ним и сообщил нам, что артист днем получил травму на репетиции спектакля. Мы посидели около часа, оживленно болтая, потом Андрей все чаще стал поглядывать на часы и, наконец, сказал: «Пошли!» Но тут его поджидал, говоря по-современному, облом. Мы сбивчиво, но твердо заявили ему, что не видим смысла ехать на вокзал и прерывать редчайшую для нас возможность посидеть в таком заведении. Андрей от всего сердца сказал «свиньи!», поцеловал нас и ушел.

Нам было неудобно перед ним, но мы быстро успокоились. А за соседний, недавно освободившийся столик шумно сел Евгений Евтушенко в сопровождении двух девиц неопределенного возраста и невзрачного мужичка затрапезного вида. Девицы беспрестанно верещали, а поэт, будучи заметно выпившим,

демонстрировал полное безразличие ко всему, тоскливо смотря в зал. В это время к столику подошел хорошо одетый мужчина средних лет и со словами «Великому русскому поэту!» поставил на край стола две бутылки «Столичной». Мужчины обнялись, и поэт благодарно зарыдал. Бутылки стояли на самом краю стола, так как официанты еще не успели убрать столик после предыдущих посетителей, и сопровождавший поэта мужичок решил освободить для них место. Он схватил в охапку пустые бутылки (штук восемь) и, недолго думая, водрузил их на наш столик, благо, что он был почти пустым. Я еще не успел это осознать, как вскочил Юра и на испанском языке (он только что вернулся с Кубы, где несколько лет работал санитарным врачом) громко и гневно что-то сказал. Что случилось с этим прихлебателем знаменитости! Он стал еще меньше ростом, прогнулся в пояснице и испуганно заверещал: «Пардон! Извините! Пардон!» От его судорожных движений две бутылки упали на пол и покатались, зазвенев. Официанты, привлеченные их звоном, подбежали к столику и унесли стеклотару. Все закончилось без скандала, но наше настроение было испорчено, и, посидев за столиком еще минут десять, мы ушли, тем более, что время уже близилось к закрытию метро.

Нужно прямо сказать, что карьера театрального режиссера у Андрея не сложилась. По распределению он уехал в Пермскую область, где несколько лет был главным режиссером в Лысьвенском драматическом театре, затем в этом же качестве – в Березниковском драматическом, где добился наивысшего успеха в своей режиссерской деятельности: два поставленных им спектакля – «Белая болезнь» К. Чапека и «Мамаша Кураж и ее дети» Б. Брехта стали лауреатами Всесоюзного фестиваля чешской и немецкой драматургии. Однако дальше дело застопорилось, появились разногласия с руководством города, которое, как он объяснял, начало бесцеремонно вмешиваться в творческую деятельность театрального коллектива и его главного режиссера. Принципиальный и правдоискательский характер Андрея этого не вынес, он на несколько лет перешел на должность рядового режиссера Пермского академического драматического театра (в Интернете имеется фотография, на которой запечатлена его актерская работа в гриме для спектакля, видимо, по пьесе драматурга Г. Фигерейду «Лиса и виноград», посвященной баснописцу Эзопу), а затем и вообще уехал в Москву. Когда в 1983 году наш курс

собрался, чтобы отметить 20-летие окончания института, все, близко знавшие Андрея, отметили, что он очень изменился (и не только внешне – он отпустил весьма солидную бороду), в его движениях появилась какая-то суетливость, неуверенность (и это у Андрея, бывшего безоговорочным лидером группы!). Нас, особенно девочек, интересовали чисто практические вопросы – женат ли, где работает. Он ловко уклонялся от ответов, а когда одна из однокурсниц буквально достала его вопросами, вдруг выдал, что работает мужем известной киноактрисы. Все сразу от него отстали, переваривая интересную информацию. Позднее выяснилось, что это была тактическая уловка Андрея, позволившая избежать дальнейших неприятных ему вопросов.

Впоследствии я узнал, что в Москве он работал в Московском литературно-драматическом театре Всесоюзного театрального общества, в течение нескольких лет был его главным режиссером. В начале 90-х наша студенческая группа встретилась на Ваганьковском кладбище в годовщину трагической гибели нашего товарища Геры Катковского. После этого грустного мероприятия мы собрались в квартире первой жены Геры (Тамары Царфис), окна которой выходили на это кладбище. Обстановка, как и общее настроение, была тяжелой, но даже на этом фоне Андрей выделялся сумрачностью и напряженностью. Поговорить не удалось, быстро разошлись. А через несколько лет в разговоре со случайно встретившимся знакомым я узнал, что Андрей по своей воле ушел из жизни. Этот факт, сам по себе чудовищный, невероятный, я осознал далеко не сразу, он проникал из мозга в сердце постепенно, но неуклонно. И когда проник, то остался там тяжелым камнем навсегда.

Я постарался, как мог, описать судьбу трех моих однокурсников. Судьба их была разной, один получил признание при жизни, другой, уверен, получит его в будущем, третий, возможно, самый талантливый, был обделен и славой, и признанием. Видимо, так, к сожалению, бывает. Я не в силах что-то изменить. Остается только вспомнить строки поэта С. Орлова: *«Силой моего воображения я хочу, чтоб ты на свете жил!»*

Адрес автора

К.м.н., заслуженный врач России,
Карпеев А.А.
aleksey_karpeev@mail.ru